

ОГОНЁК

№ 28 (1413)

11 ИЮЛЯ 1954

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

32-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



В колхозной степи.

Все мы хорошо помним, какое огромное значение имело для молодого Чехова взволнованное обращение к нему Д. В. Григоровича, писателя, бывшего почти на сорок лет старше Антона Павловича. Письмо это, в котором Григорович горячо приветствовал новый «настоящий талант», сильно содействовало назревавшему в Чехове перелому. Он был уже признанным мастером короткого рассказа. Из просто занимательных они внутренне крепили и становились все более значительными, сочетая порою в себе юмористическую трактовку с подлинно трагическим содержанием.

К этому же времени выявилось с полной силой и то отношение автора к своим героям, которое впоследствии стало именоваться «чеховской манерой» письма. За конкретным героем повествования чувствовалось авторское раздумье о судьбе человека вообще. Это необычайно расширяло круг читателей Чехова, ощущавших, как их «лично» задевает рассказ о человеческой судьбе едва ли не каждого конкретного персонажа: Чехов о нем говорил и рисовал его, нося в себе порою еще и не вполне осознанные думы о любой человеческой судьбе. Этим объясняется самая «тональность» рассказа.

Герои говорят о многом, о различном, а подо всем этим, или надо всем этим, с читателем ведет беседу автор, и притом почти всегда о том, чего, по собственному его выражению, «не увидишь простым глазом». Любопытно, что выражение это, взятое нами из письма молодого писателя своему брату Николаю Павловичу, Чехов применил даже не к художественному творчеству, а для характеристики воспитанных людей: «Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом».

Кстати, здесь же мы видим, как артистически тонко и в то же время совершенно естественно и непринужденно Чехов умел сочетать с шуткой серьезную, своеобразно-глубокую мысль, возбуждая у читателя невольное желание постигнуть ее и следовать ей. Мне вспоминается, как один из моих знакомых обмолвился о Чехове такую фразой: «Удивительно, как он каждый раз берет меня мягкой своей лапой».

И, однако, взыскательный к себе молодой писатель не успокаивался на том, чего он уже достиг: «Я имею способность — в этом году не любить того, что написано в прошлом, мне кажется, что в будущем году я буду сильнее, чем теперь».

И еще: «Растягивать неважные сюжеты на большое полотно — скучно, хотя и выгодно. Трогать же большие сюжеты и тратить дорогие мне образы на срочную поденную работу — жалко».

Но приходила пора, и эти образы и сюжеты ложились под его перо. Вскоре Чехов создает свою «Степь», где сливаются воедино и неподкупный реализм жизни и тончайший лиризм и где, более того, автор впускает в свою душу весь мир, ответно окутывая его теплым дыханием человеческих чувств.

СТЕПЬ

Иван НОВИКОВ

Чехов не раз в детстве, да и подростком ездил в гости к дедушке этою самой необъятною степью. Так и теперь, чтобы оживить давние воспоминания, Чехов с повторным наслаждением окунулся в родные его сердцу степные просторы. С дороги домой он писал: «Пахнет степью и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей — коршунов, летающих над степью». И еще другой отрывочек из письма: «Вышел ночью из вагона... а на дворе такие чудеса: луна, необозримая степь с курганами и пустыня; тишина гробовая, а вагоны и рельсы резко выделяются из сумерек — кажется, мир вымер. Картина такая, что во веки веков не забудешь».

Мы привели эти отдельные строки из писем Чехова, так как они подтверждают одну очень своеобразную особенность «Степи». Скажем сразу: в этой повести, имеющей подзаголовок «История одной поездки», мы читаем описание не только поездки маленького Егорушки (маленького Антоши), но и описание путешествия взрослого писателя Антона Павловича. Правда, он не едет, как действительно ехал, по железной дороге, но зато он весь в этом давнем путешествии на лошадях. И в самом деле, когда вы читаете «Степь», вы чувствуете полное, незвизая на протекшее время, слияние этих двух существ в знакомых им степных беспредельных просторах.

Указанную особенность можно было бы, пожалуй, считать и «недостатком» произведения, если подойти к ней придирчиво формалистически, на деле же, конечно, совсем наоборот.

Пожалуй, по своеобразию «Степи» не найти ей равной и во всей нашей литературе. Ведь это, казалось бы, — всего лишь путешествие мальчика, которого взял с собой дядя, ехавший продавать шерсть; а мальчика Егорушку он вез определить в гимназию.

Иной фабулы в этой очень большой для Чехова вещи нет. И, однакоже, очарование

ее огромно. От неспешного этого передвижения по июльской выжженной степи нельзя оторваться. Перед Егорушкой медленно разворачивается целый мир новых для него ощущений, пейзажей, людей. И вместе с маленьким путешественником столь же свежо и непосредственно воспринимаем все это и мы, читатели; мир как бы заново открывается нам.

И какой это полный, богатый мир: природа, ее дыхание, несколько как бы однотонное, но переливно-изменчивое; сам мальчик Егорушка, сразу же ставший для нас непостижимым образом близким, своим; спутники мальчика, дядя и отец Христофор; неуловимый Варламов, который «кружит» по степи; множество встречных людей, и среди них какие фигуры! Еврей Соломон, гордый и нищий, презирающий деньги и самого миллионера Варламова; Константин, молодой крестьянин лет тридцати, который подошел ночью на огонь и у которого все «увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку»: ему не терпелось, он был как хмельной, и его рассказ о любви своей и о женитьбе, рассказ взволнованный, переполненный счастьем, так же, пожалуй, чист и горяч, как и этот костер среди ночи, у которого его слушали возчики...

А молодая графиня Драницкая, поцеловавшая полусонного Егорушку и оставшаяся таким же полусонным, волшебным видением? «Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно».

И еще многие другие люди, из которых каждый открывает мальчику что-то новое, и среди них особливая фигура угрюмого озорника и скандалиста Дымова, с которым даже у кроткого Егорушки вышло самое резкое столкновение. Замечательна сцена, когда этот человек, носящий в себе непрестанное томление жизни, пришел к племяннику своего хозяина повиниться:

«Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомленно и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо. — На, бей! Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

— Ничего, бей! — повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он прыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!»

Говоря о «Степи», интересно отметить одну ее особенность: в ней несомненно ощутимо влияние манеры Гоголя. Это большая редкость

для Чехова, писателя исключительно своеобразного.

«В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки» («Мертвые души»).

«Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники» («Степь»).

Две эти цитаты говорят сами за себя, и их можно не комментировать.

Но разве удивились бы мы, прочтя не в «Степи», а в «Мертвых душах» и такие, например, строки: «Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачевую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...»

Или еще такое описание: «По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад».

Особенно следует обратить внимание на те места, которые посвящены восприятию самой степи. Замечательны они тем поистине богатырским дыханием, с каким оба наши классика говорят о России. Видимо, эта русская ширь и именно передвижение по необъятным нашим просторам — повелительно-необходимое условие для того художника, который дерзает охватить свою родину во всем ее многообразии и могучем единстве. (Вспомним, кстати, какое огромное значение имели для Пушкина его путешествия по России.)

Полная самостоятельность Чехова как художника разумеется сама собой. Кроме начала повести, явно параллельного началу «Мертвых душ» и безусловно преднамеренного, вряд ли где и сам Чехов с полной ясностью осознавал наличие некоторых отзвуков Гоголя.

Тут важно другое. Вся наша большая русская литература, невзирая на резко очерченные индивидуальности ее творцов, имела всегда какие-то внутренние соединительные нити, а порою мы видим и открытое «рукопожатие» между художниками, друг от друга совершенно отличными, хотя, впрочем, порою это же приводило и к резкому столкновению: вспомним таковое между Гончаровым и Тургеневым. Недостаток ли это литературы в целом? Нимало: это, напротив, делает всю ее еще веселее, монолитнее, меняя в ряде случаев простой знак плюс на сложный знак умножения. Ибо как бы ни были сами по себе своеобразны отдельные художники, все они неизбежно являются также и выразителями определенной эпохи, и именно это качество и дает столь долгую жизнь их творениям. Литература живет вместе с народом и от него неотрывна.

Что эта новая для Чехова манера письма была органически собственной, можно видеть по тому, что мы вдруг ощущаем здесь, пожалуй, впервые с полной силой такого Чехова, который говорит нам о себе как раз именно то, что так трудно переложить на слова прозаические. Вот два коротеньких, но характерных места.

В повести это как бы вовсе не о себе: о коршуне, о тополе, но в том-то и магия искусства, что в этих как бы простых описаниях мы чувствуем нечто глубоко личное, скрытый авторский вздох:

«Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несет-



Антон Павлович Чехов и Алексей Максимович Горький с племянником Антона Павловича — Володей. Ялта. 1902 год. Редкая фотография.

ся над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно».

«А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастливы ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один...»

Правда, несколько позже Чехов относит образ тополя, в восприятии Егорушки, к облику графини Драницкой, но, конечно, образ этот воспринимается одновременно и значительно шире. Стройность и красота тополя — да, это графиня, а все остальное — более родственно образу коршуна: это личная дума автора о судьбе одинокого человека (да и о себе самом).

Но не всегда эта дума так безысходно тосклива: «Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью».

Пессимист ли был Чехов или оптимист — об этом спорили много, но, пожалуй, напрасно, ибо Чехов был и такой и иной, но все это равно покрывается тем, что он был худож-

ник. А для подлинного художника даже и тоска — не та подавляющая тоска о житейской безысходности, которая берет человека в свои жестокие клещи: нет, эта тоска, можно сказать, музыкальна, крылата и потому не властвует над художником, а, напротив того, благодаря этому своему изменению ему подчинена. Но послушаем опять-таки самого Чехова:

«...И тогда в трескотне насекомых, в подзвучивающих фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспеты и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!»

И вот вопреки этой безнадежности сам Чехов и стал этим подлинным певцом торжества красоты и страстной жажды жизни.